

В. А. Кошелев

ЭФФЕКТ ОХОТНИКА В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

В 1869 году в «Литературных и житейских воспоминаниях», в очерке о Белинском, И. С. Тургенев поведал о том, как он двадцать три года назад, будучи молодым автором «стихотворений и поэм», решил, что ему «не предстояло никакой надобности продолжать подобные упражнения» и «*возымел твердое намерение вовсе оставить литературу*». И далее: «...только вследствие просьбы И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м номере „Современника“, я оставил ему очерк, озаглавленный „Хорь и Калиныч“. (Слова: „Из записок охотника“ были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе».¹

Показателен «подтекст» тургеньевских воспоминаний, относящийся к понятию *охотник*. Для Панаева, которого Тургенев недолюбливал за «фатовские» манеры и стремление к «большему форсу»,² это понятие предполагало что-то, отличное от профессионального литературного творчества: не судите строго — это лишь «*записки охотника*». Для самого Тургенева, воспринявшего это понятие на волне того «успеха», который принесло ему его первое зрелое произведение, это понятие означало нечто совсем иное.

В середине XIX столетия в русскую литературу пришла группа «охотников», создавших русскую классику. Ап. Майков свое стихотворение «Рыбная ловля» (1855) снабдил посвящением: «Посвящается С. Т. Аксакову, Н. А. Майкову, А. Н. Островскому, И. А. Гончарову, С. С. Дудышкину, А. И. Халанскому и всем понимающим дело».³ Здесь

¹ ПССиП(1). Соч. Т. 14. С. 52. Зд. и далее в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, курсив наш. — В. К.

² Там же. С. 72.

³ Майков А. Н. Избранные произведения / Вступит. ст. Ф. Я. Приймы, сост., подгот. текста и примеч. Л. С. Гейро. Л., 1977. С. 351. (Сер. «Библиотека поэта»).

перечислены русские писатели, «понимающие дело» рыбной ловли («уженья»). К этому списку можно прибавить значительное число писателей, «понимающих дело» ружейной охоты; помимо Тургенева, это тот же С. Т. Аксаков, А. С. Хомяков, Н. А. Некрасов, А. К. Толстой, А. А. Фет, Е. Э. Дрянский, Л. Н. Толстой и т. д. Этот список охватывает фактически всю русскую литературу первого ряда (и частично — «второго ряда») середины века.

Кажется довольно странным: писатели предшествующего поколения были как будто далеки от этого увлечения. Нам трудно представить с ружьем за плечами или с удочкой в руках Жуковского или Батюшкова, Пушкина или князя Вяземского, Лермонтова или Гоголя.

Пушкин даже специально отделял собственно *ружейную* охоту от «охоты» *поэтической*. В одной из пропущенных строф «Евгения Онегина» (XXXIV строфа четвертой главы) возникает образ беспечного автора («я»), который, «стоской и рифмами томим», бродит над озером и громко сочиняет «сладкозвучные строфы». Эти «строфы» распугивают «стадо диких уток» — к величайшей досаде ружейного охотника, в тишине подманивавшего это стадо:

Уж их далече взор мой ищет
А лесом кравшийся стрелок
Поэзию клянет и свищет,
Спуская бережно курок.

Далее — следует показательное рассуждение о «разных охотах»:

У всякого своя охота,
Своя любимая забота —
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином —
И благо смешано со злом.⁴

Показательно, что у писателей старшего поколения существовало прежде всего представление о «разных охотах». Третья книга «охотничьего» цикла С. Т. Аксакова носила заглавие: «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» (1855). В обращении к читателям и во вступлении Аксаков попытался определить свое творческое кредо. Он пишет о единственном стремлении художника: «...есть что-то невыразимо утешительное и обольстительное в мысли, что, передавая свои впечатления, возбуждаешь сочувствие к ним в читателях, преимущественно охотниках до каких-нибудь охот».⁵ Слово *охота* понимается здесь явно шире, чем просто «ловитва», промысел. В. И. Даль в слова-

⁴ Пушкин. Т. 6. С. 597—598.

⁵ Аксаков. Т. 4. С. 465.

ре определил слово «охота» как «*состоянье человека, который что-либо хочет; хотенье, желанье, склонность или стремление, своя воля, добрая воля <...>*». Охота суть воплощенное человеческое желание, овестьственный азарт. В этом смысле охота становится самым естественным человеческим чувством и деянием.

И — самым нерациональным. Вот отправная точка рассуждений Аксакова: «„Ну, это уж его *охота*, уж он *охотник*”, — говорят, желая оправдать или объяснить, почему *так неблагоприятно, так странно* поступает такой-то человек в таком-то случае... — и объяснение всем понятно, всех удовлетворяет». А что, собственно, «удовлетворительно» в этом объяснении?

«Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, — спрашивает Аксаков, — по каким причинам, на каком основании?.. Ничего положительного сказать невозможно». Но далее: «Кто заставляет в осенние дожди и слякоть таскаться с ружьем (иногда очень немолодого человека) по лесным чащам и оврагам, чтоб застрелить какого-нибудь побелевшего зайца? Охота. Кто поднимает с теплого ночлега этого хворого старика и заставляет его на утренней заре, в тумане и сырости, сидеть на мокром берегу реки, чтоб поймать какого-нибудь язя или голавля?.. Охота, без сомнения, одна охота. Вы произносите это волшебное слово — и все становится понятно».⁶ Но кому — понятно?

Восприятие охоты как «хотенья» вообще, а охотника как «любителя» вообще определяло и ироническое отношение к этим понятиям, которое видим, например, у Пушкина. «Им овладело беспокойство, / Охота к перемене мест...», «Охоту к славе потеряв, / Никем не знаемый Фарлаф...», «Охотник до журнальной драки...», «Охотники до похорон...», «Охотник до войны...» и т. п. Увлечение охотой — бытовое развлечение русского помещика — Пушкин почитает откровенным «баловством», далеким от поэзии. Если Некрасов, например, связывал с поэтическим занятием охоты свое «заветное» деревенское времяпрепровождение («Опять я в деревне. Хожу на охоту. / Пишу свои вирши. Живется легко...»), то Пушкин, например, не упоминает о деревенской «охоте» Онегина, предпочитая констатировать, что тот «скучал» или целыми днями играл «на бильярде в два шара...».

Пушкинские персонажи (во всяком случае, симпатичные персонажи) охотой не занимаются. *Охота* вообще предполагает иное, не пушкинское, представление о простых вещах, например, о погоде:

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкой снег,
Да вой волков; но то-то счастье
Охотнику!

⁶ Там же. С. 466—467.

И далее Пушкин подробно разворачивал картины «счастья» охотника в такую невозможную для всех остальных погоду.⁷ Картины эти, в общем, не эстетичны: писателю особенно претит псовая охота — «бешеная забава», «опустошительный набег». От такой охоты «страждут» и растения («озими»), и животные (которых «травят»), и даже близкие охотнику люди. Помещик Берестов, персонаж «Барышни-крестьянки», «был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время, как он находился в отъезде в поле».⁸ Не более симпатичными являются и любитель псовой охоты помещик Троекуров, и гоголевский «охотник» Ноздрев.

Старший современник Пушкина С. Т. Аксаков в быту был похож именно на таких литературных персонажей, сгоравших в пылу «охотничьего» азарта. Но с одним отличием, которое попытался наметить в своей очень откровенной характеристике отца его младший сын Иван Сергеевич:

«Сергей Тимофеевич любил жизнь, любил наслаждение, — вспоминал И. С. Аксаков, — он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. *Страстный актер, страстный охотник, страстный игрок в карты*, он был артистом во всех своих увлечениях: и в поле с собакой и ружьем, и за карточным столом. *Он был подвержен всем слабостям страстей человека*, забывал нередко весь мир в припадке своего увлечения; уже женатый, проводил он целые дни за охотой, целые ночи за картами; но, зная за собой это свойство, он *был чужд всякой гордости к ближнему*, напротив, отличался постоянно снисходительностью. Это-то качество и дало ему возможность развить в себе эту теплую объективность, которая составляет такую прелесть „Семейной хроники“, которая чуждается всякой экзальтации, резкости, полна любви и благоволения к людям и отводит место каждому явлению, признавая его причинность, доброту и дурное в жизни. Радужный и добрый от природы, он обладал умом чрезвычайно ясным и трезвым. *Эта ясность омрачалась пылкостью и страстностью*, — но когда годы и болезни умерили пыл и обуздали страсти, ум его освободился из-под гнета, достиг той степени спокойного, объективного отношения к жизни, которая так поражает читателя в его сочинениях».⁹

Писатель, родившийся девятью годами раньше и выступивший в литературе через десять лет после смерти Пушкина, был носителем типично славянского — по природе своей анархического — начала *все-приемлемости*, всепонимания, типично русского благодушия, избегающего всего, что нарушает мирный уклад жизни. Не случайно среди приятелей он сразу стал исполнять роль посредника и «примирителя»

⁷ Пушкин. Т. 5. С. 3—4.

⁸ Там же. Т. 8. Ч. 1. С. 109.

⁹ Аксаков И. С. Очерк семейного быта Аксаковых // Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888. Т. 1. С. 12.

во всех ссорах. Станным образом это качество совмещалось в нем с «охотничьей» страстностью.

Но, человек поколения Жуковского, он осмелился заговорить о своей «охоте» только в шестидесятилетнем возрасте — на рубеже 1850-х годов. И, в частности, именно поэтому так естественно «вписался» в группу литераторов следующего поколения. В следующем поколении оказался востребован тот образ *охотника*, который Аксаков воссоздал совершенно естественно, исходя из своих неповторимых представлений.

Исходя из этих представлений отвергалась «псовая охота», столь популярная в пушкинские времена. «Все охоты хороши!» — восклицает он в «Записках ружейного охотника...» (1852). И тут же уточняет: «...у всякого свой вкус: я не люблю охоты, где надобно содействие посторонних людей, иногда вовсе не охотников, и должен признаться, что не люблю ни гончих, ни борзых собак и, следовательно, не люблю псовой охоты».¹⁰

Не случайно английское издание охотничьей трилогии Аксакова вышло под заглавием «Русский джентльмен». Охота для писателя начинается тогда, когда возникает прямое *состяжание*, изначально заданное противоборство со зверем, рыбою или птицей. Предметы людской «ловитвы» — существа сами по себе весьма ловкие, изобретательные и сильные. А человек (который, конечно, сильнее любого зверя) должен непременно ставить себя в одинаковые условия с тем, кого он собирается перехитрить. Аксаков не признает рыбной ловли неводом (только на удочку!) и отвергается от «псовой охоты», в которой заняты десятки людей и собак, — только простейшее ружье и неизменный английский сеттер. Для него невозможна победа над птицей, которая спит или опьянена любовью — и не подозревает об опасности. «Ловитва» имеет смысл лишь тогда, когда человек должен стать хитрее самой хитрой рыбы, сильнее самого сильного зверя, выносливее и терпеливее того животного, которое собирается убить.

Только в такой, «на равных», охоте человек приобщается к природе, уходит в ее мир. Высшее наслаждение настоящего рыбака-художника заключается в том, чтобы «изучить, отгадать местопребывание, свойство и вкус осторожной, пугливой вольной рыбы, привлечь и обмануть ее искусною насадкой, подстеречь ее прикосновение к крючку». Истинный охотник на этом поприще имеет бесконечные возможности для проявления своей джентльменской сущности: «Я так всегда любил этих крошечных куличков, что мне даже жалко бывало их стрелять. Если мне случалось как-нибудь нечаянно подойти к их станичке близко, так, что они меня не видели и продолжали беззаботно бегать, доставать из грязи корм, а иногда отдыхать, стоя на одном месте, то я подолгу любовался ими, даже не один раз уходил прочь, не выстрелив из ружья... Для горячего охотника это не безделица!».¹¹

¹⁰ Аксаков. Т. 4. С. 164.

¹¹ Там же. С. 44, 228.

Именно это провозглашенное Аксаковым *джентльменское* основное охотничье увлечение стало причиной тяготения к нему русской литературы. Обратим внимание: все перечисленные выше «писатели-рыболовы» и «писатели-охотники» преимущественно воссоздавали процессы «уженья на удочку» и «ружейной охоты». Тот же Тургенев, будучи страстным охотником, по-видимому, принимал участие и в «псовых охотах»;¹² он даже описал их (в стихотворениях «Старый помещик» и «Деревня», в рассказах из «Записок охотника» «Малиновая вода» и «Чертопханов и Недоноскин»). Но эти охоты воспринимались непременно как принадлежность старого, ушедшего помещичьего уклада, не очень уважаемого новым охотником. Тот же Некрасов, который любил похвалиться «охотой» и иногда отправлялся охотиться «целым караваном», нанимая «до 80 человек» мужиков,¹³ предпочитал образ «одинокого» охотника с ружьем и собакой (да еще иногда с «другом-приятелем Гаврилой Яковлевичем») — так «литературнее» получалось.

Это литературное ощущение, сформировавшееся к середине XIX столетия, предполагало «суженное» восприятие самого понятия *охотник*. Когда Панаев вставил подзаголовок «Из записок охотника» к рассказу «Хорь и Калиныч», он уже освободился от представления о том, что «у каждого своя охота». «Охотник» воспринимался в единственном значении: «кто стреляет дичь по промыслу или для забавы <...> занимается охотой, стрельбой, любит ее» (В. И. Даль). Более того, подзаголовок уже ориентировал не на «охотника-профессионала», а именно на «охотника-любителя», для которого сама охота оказывается такой же «забавой», как и представленный в журнале немудрящий очерк.

А это представление, в свою очередь, рождало очень важное литературное ощущение, которое сформулировал в некрологе на смерть С. Т. Аксакова (1859) другой охотник, А. С. Хомяков. Хомяков задает простой вопрос: что заставило московского «хлебосола» Аксакова на шестом десятке лет, больного и почти ослепшего, заняться литературным творчеством?

«Мысль о художестве была устранена; он от нее вовсе освободился. Страстный рыболов, лишенный случайностями жизни привычного наслаждения, он захотел вспомнить старые годы, прежние тихие радости, а вследствие в высшей степени общительного нрава он захотел передать их, объяснить их другим, и написались книга...». Книга «Записки об уженье» вышла свет в 1847 году. «И читатель брал ее так же добродушно, без ожидания художественного наслаждения, а просто в надежде узнать кое-что об искусстве уженья <...> и потом, вчитываясь, он с странным удивлением замечал, что ему все занимательнее стано-

¹² См.: Шапочка В. В. Охотничьи тропы И. С. Тургенева. Орел, 1998.

¹³ См.: Буткевич А. А. Из воспоминаний // Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 386—389; Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах. Л., 1930. С. 402—422.

вится предмет, заманчивее и красивее прихоти водяных потоков и разливы озер и прудов; милее самые рыбы, от пошлого пескаря до редкого лоха. Нашлись люди, которые догадались, что тут скрывалось искусство, и искусство истинное...»

«Записки об уженье» имели успех: читатель угадывал в них нечто необыденное, нечто выходящее из круга привычных практических «рыбацких» советов. Но что именно?.. «Его слушали, — продолжает Хомяков, — слушали с удовольствием, с увлечением; и сам он дал свободу своим воспоминаниям, сам стал увлекаться ими все более и более, чувствуя, что у него и, так сказать, перед ним — не просто холодные читатели, но, невидимые и незнакомые, но уже сочувствующие друзья. Сравнительно тесный круг воспоминаний рыболова уступил место воспоминаниям охотника...». «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» появились в марте 1852 года и вызвали одобрительные критические отклики Н. Г. Чернышевского (он назвал книгу «классическим сочинением»), Н. А. Некрасова («превосходная книга»), И. С. Тургенева («подобные книги появляются у нас слишком редко!»), Н. Н. Воронцова-Вельяминова («счастливая книга»)...

Суммируя все впечатления, Хомяков так определил значение этих ранних аксаковских созданий: «В них природа русская раскинулась в чудной красоте и русский писанный язык сделал шаг вперед, даже после Пушкина и Гоголя. <...> Это бесконечно важное приобретение было — *свобода от художественной преднамеренности*».¹⁴

Собственно, устранение «мысли о искусстве», отход от желания непременно произвести плод «художественного наслаждения» — были той важнейшей идеей, в русле которой совершались самые значительные художественные открытия русской прозы середины XIX столетия. Эта идея лежала в основе художественных открытий «натуральной школы». Ее же имел в виду Панаев, рассматривавший подзаголовок «Из записок охотника» как «располагающий читателя к снисхождению».

Показательно, что оба произведения, заявившие в литературе «охотничью» тему и определившие дальнейшую творческую судьбу их авторов, — «Записки об уженье» и «Хорь и Калиныч» — создавались и появились в печати одновременно: в начале 1847 года. Это — не просто совпадение. Это — *выражение внутренней потребности времени*, которому на определенном этапе оказался необходим именно охотник как некий объединяющий символ. В предисловии к «Запискам об уженье» Аксаков заявил: «Все охоты: с ружьем, с собаками, ястребами, соколами, с тенетами за зверьями, с неводами, сетями и удочкой за рыбою — *все имеют одно основание*. Все разнородные охотники должны понимать друг друга: ибо охота, *сближая их с природою, должна сближать между собою*».¹⁵

¹⁴ Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 410.

¹⁵ Аксаков. Т. 4. С. 10.

Согласно классификации субъектов речи, предложенной Б. О. Корманом, носитель речи в тургеневских «Записках охотника» определяется как *личный повествователь*, — то есть «ограниченно выявленный» субъект повествования, названный в тексте («я») — но и только. «Его личностная определенность при непосредственном восприятии текста почти не бросается в глаза». ¹⁶ Мы можем предположить, что это лицо, близкое к автору, — но почти ничего не можем сказать ни о его внешности, ни о внутренних достоинствах.

Суждение как будто верное, если не учитывать общего заглавия цикла. Но перед нами — записки *охотника*. Именно указание на *охотника* становится тем *знаком*, который может, в сущности, заменить детально развернутый характер персонажа: «повествователя», не становящегося «рассказчиком».

«Запискам об ужении» Аксакова был предпослан (во втором издании) эпитафия — отрывок из раннего послания автора к М. А. Дмитриеву:

Есть, однако, примиритель,
Вечно юный и живой,
Чудотворец и целитель,
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И — в свои молодые годы.

При первом издании цензура решительно воспротивилась «неудачной» рифме: *природа — свобода*. А для автора это было принципиально важно, — ибо где же еще и как еще проявиться человеку, задавленному чуждым ему, насильственным «азартом» русской общественной жизни. «Деревня, мир, тишина, спокойствие! Безыскусственность жизни, простота отношений! Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же *бежать от неутомимой, внешней деятельности*, мелочных своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений...»

Убежишь — а что там? А ничего: «„светлое зеркало воды“, на котором „колеблются или неподвижно лежат поплавки ваши“... И всё: при свободном проявлении, при „охоте“, уже не существует ни „мнимых страстей“, ни „самолюбивых мечтаний“, ни „несбыточных надежд“». Природа благополучно вылечивает от всего этого: «Неприметно, малопомалу рассеется это недовольство собою, эта презрительная недоброжелательность к собственным силам, твердости воли и чистоте помышлений — *эта эпидемия нашего века, эта черная немочь души, чуждая*

¹⁶ Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. С. 33.

здоровой натуре русского человека, но заглядывающая и к нам за грехи наши...».¹⁷

В письме к сыну Ивану от 12 октября 1849 года Сергей Тимофеевич высказался об этом еще определеннее: «Скверной действительности не поправишь, думая об ней беспрестанно, а только захвораешь, и я забываюсь, уходя в вечно спокойный мир природы».¹⁸ *Охотник*, по мысли Аксакова, может проявиться только в отстранении от «скверной действительности».

Тургенев представил принципиально иную модель поведения «охотника». Он не собирается «уходить» от «скверной действительности» «в вечно спокойный мир природы», — он просто оценивает эту действительность своим «природоподобным» взглядом. И благодаря этому взгляду становятся гораздо явственнее все гадкие и скверные ее стороны.

Охотник имеет право на такой взгляд — потому что охотник по определению *хороший человек*.

А. С. Хомяков (по воспоминаниям С. М. Соловьева) в феврале 1855 года (когда покойного Николая I сменил на престоле Александр II) поздравлял приятелей с хорошим царем и выводил шуточный закон, согласно которому в России «за хорошим царствованием идет дурное, а за дурным — непременно хорошее». «Притом, — продолжал Хомяков, — наш теперешний государь *страстный охотник, а охотники всегда хорошие люди...*».¹⁹

В этой характеристике Хомяков словно цитировал «Записки охотника» Тургенева: нечто подобное читаем уже в первом очерке: «...сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, *страстным охотником и, следовательно, отличным человеком*».²⁰ Правда, каких-то особенно «отличных» черт личности «мелкого помещика» автор не представляет — напротив, начинает его характеристику с перечисления «некоторых слабостей»...

Потом из содержания очерка, мы узнаем, что этот «отличный человек» ничем особенным не замечателен. Хозяин он неважный: хвалится, например, продажей своего леса купцу Аллилуеву. Помещик — тоже не очень авторитетный: его крепостной Хорь позволяет себе по адресу господина весьма скептические замечания (насчет «сапогов», которые тот не может сшить служающему ему Калинычу). Да и охотник он, в конечном счете, «аховый»: тот же Калиныч «каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; *без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог*».²¹ Сам Полу-

¹⁷ Аксаков. Т. 4. С. 11.

¹⁸ РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 70—70 об.

¹⁹ Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1995. Кн. 18. С. 644.

²⁰ ПССуП(1). Соч. Т. 4. С. 8.

²¹ Там же. С. 11.

тыкин признается, что из-за него Калиныч не может содержать свое хозяйство: «я его всё оттягиваю»... Однако как-либо поблагодарить «добротного мужика» не догадывается, разве что «в прошлом году гривенник пожаловал».

Автору гораздо интереснее именно мужики, эти самые крепостные «г-на Полутыкина», которые на поверку и умнее, и сноровистее своего хозяина. У них есть жизненный интерес — и они его, каждый по-своему, реализуют. А охотник задерживается у Хоря на три дня (это пребывание идет как будто под «гостеприимным кровом г-на Полутыкина») — и слушает крестьянские беседы, присматривается к их нравам, которые оказываются для него любопытны и интересны. А под конец оказывается, что этот самый автор — вроде бы такой же «отличный человек», как и «г-н Полутыкин», — все-таки человек «особенный». Вот его последний разговор с Хорем:

«„А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?“ — „Есть“. — „Далеко отсюда?“ — „Верст сто“. — „Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?“ — „Живу“. — „А больше, чай, ружьем пробавляешься?“ — „Признаться, да“. — „И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще“».²² С точки зрения хозяйственной «справности», «личный повествователь» «Записок охотника» — такой же неважный помещик, как и господин Хорь. Но Хорь почему-то относится к нему совсем иначе, чем к Полутыкину. Дело здесь опять-таки в особенной «стихии жизни», которая определяет сущность истинного охотника.

Для него, в отличие от «г-на Полутыкина», охота оказывается не какой-то «забавой», а именно *страстью*, которая заставляет человека уходить из «своей вотчины» за сто верст на охоту. Причем не за добычей, — какую же охотничью «добычу» стоит искать так далеко? — а за каким-то странным «вольным хотением». Искатель этого «вольного хотения» выглядит неким «чужаком» в глазах обывателей — и относятся они к нему не как к «барину», а как черт знает к кому. Этот «молодой человек» — дворянин; и уже из первого рассказа понятно, что он и породистее, и побогаче, и поважнее «г-на Полутыкина» будет! Между тем русские крестьяне относятся к нему как-то неуважительно и покровительственно обращаются к нему на «ты», чего никак не могут позволить с «г-ном Полутыкиным». И ночевать он просится «в сенном сарае», рядом с коровами и лошадьми, чтобы хозяев не стеснять (чего опять-таки не пришло бы в голову «г-ну Полутыкину»)... Даже нанятый им помощник «бродяга» Ермолай говорит про него без какого-либо почтения: «А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга, — набегался, так и спит».²³

В рассказе «Ермолай и мельничиха» приводится детальная характеристика этого «бродяги»-охотника Ермолая. По нему можно судить и о

²² Там же. С. 20.

²³ Там же. С. 28.

том, как воспринимают окружающие самого «личного повествователя». «На чужой стороне» его называют «Ермолкой», а владеющие им помещики «от него отказались, как от человека ни на какую работу не годного — „лядащего“, как говорится у нас в Орле». Носит он странное одеяние: «ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком». Свою легавую собаку «по прозванию Валетка» он не кормит, уверенный, что «животное умное, сам найдет себе пропитанье», часто ругается «на всех известных и неизвестных диалектах».

И далее: «Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и всё-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой».²⁴ Мог ни с того ни с сего сорваться за десять верст от дома, в котором «больше дня не оставался». «Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев <...>». Мастерство это, правда, оставалось большей частью не востребуемым: «Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой — и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры...».²⁵

Вероятно, сам автор-охотник выглядит подобным же образом в глазах представителей своего сословия. «Кочевая» жизнь, которую он постоянно ведет, ночуя то в сенном сарае, то в каком-нибудь овине, а то и вовсе под открытым небом, когда он «всё свое носит с собой», предполагает наличие особенного удобного одеяния, не всегда соответствующего требованиям светского приличия. Спутником его является легавая собака — незаменимый помощник охотнику, вместе с которой он переживает разные неизбежные «приключения», неотделимые от его охотничьих скитаний. Он, как и Ермолай, «живет где хочет и чем хочет» — и тоже подолгу в своей вотчине не засиживается, хозяйственными делами по имени особенно не занимается. Но и вряд ли следует совету Хоря почаще менять старосту: для этого надобно-таки вник-

²⁴ Там же. С. 23, 22, 24.

²⁵ Там же. С. 24—25

нуть в хозяйство, а ему, который «больше ружьем пробавляется», все как-то не до того.

Поначалу все «соседи» относятся к нему настороженно; да что соседи — даже и мельник на двор переночевать не пускает: боится — спалит! Но со временем проникаются к нему какой-то особенной доверенностью: и «сосед Радилов», и «однодворец Овсяников», и прочие. Часто здесь играет свою роль тот «эффект попутчика», который автор намечает в рассказе «Уездный лекарь»: «Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал». ²⁶ Встреча со «случайным», незаинтересованным человеком, с бескорыстным собеседником освобождает от условностей, оглядок, от боязни показаться смешным — и часто перед «попутчиком», которого видишь, во всяком случае, нечасто, хочется облегчить душу. А слушать охотник умеет...

Особую доверительность окружающих в отношениях с охотником Ю. В. Лебедев объяснил так: «Нельзя не заметить, что люди, с которыми встречается в своих охотничьих странствиях рассказчик, щедро с ним откровенны. Они доверчиво сообщают ему свои тайны, обнимают перед ним интимные уголки своих душ. Русский охотник — ведь это странник, бродяга, отрешившийся от тех ложных ценностей жизни, которые в мире социального неравенства разобщают людей <...>. К такому собеседнику, у которого вместо крыши вольное небо над головой, тянутся охотно и простые, и чиновные люди». ²⁷

Но дело не только в «вольном небе над головой». Ведь такого рода «чужачество» — это прежде всего отражение самой «философии» охоты. Охотничья страсть возникает в человеке вместе с особым чувством, которое, например, С. Т. Аксаков испытал еще в шестилетнем возрасте, когда он на рыбалке поймал на уду первую плотичку: «Я, — отмечает он в „Детских годах Багрова-внука“, — весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости <...>. Уженье просто свело меня с ума! я ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить, так что мать сердилась и сказала, что не будет меня пускать, потому что я от такого волнения могу захворать; но отец уверял ее, что это случилось только в первый раз и что горячность моя пройдет; я же был уверен, что никогда не пройдет...». ²⁸

В своей уверенности он оказался прав: увлеченная горячность и страстность восторженного рыболова (а потом — охотника, грибника, картежника, чтеца, литератора и т. д.) — не прошли у него никогда. Ко всем своим увлечениям он привык относиться с художественным азар-

²⁶ Там же. С. 43.

²⁷ Лебедев Ю. В. «Записки охотника» И. С. Тургенева. М., 1977. С. 17.

²⁸ Аксаков. Т. 1. С. 309—310.

том. Он, к примеру, очень рано понял, что настоящая охота не имеет ничего общего с промыслом, и никогда не стремился только к добыче. Когда ему довелось удить на озере, где «было полно всякой рыбы», так полно, что «около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мель и даже выскакивали на береговую траву», — ему вдруг стало неинтересно: «множество и легкость добычи <...> охладили горячность мою»... В любом деле он привык ценить не результат, а азарт дежания. Если он приводил к какому-то результату — хорошо. Если нет — огорчительно, но терпимо. Точно так же и тургеневский охотник готов отдать убитую птицу хозяину того заброшенного сада, где он подстрелил ее.²⁹

Результат особенно ценился, если он нетрадиционный. В 1839 году, выйдя в отставку, Аксаков уехал на несколько месяцев в Оренбургскую губернию, откуда сообщал старшему сыну: «Уженье вовсе не завидно, и мое, хотя кратковременное, ибо я удил в Аксакове 3 утра да у Варшавки 4, — но зато успешно!». Тут же разъясняется суть успеха: «Видел я, наконец, знаменитого рыбака Наумова; во всех отношениях преразличительное и приятное лицо. Тех людей, которые в вашем поколении, уже нельзя будет найти!». Тут же — об охоте: «Я недавно видел странного русака; но травить не удалось: пропал неизвестно куда. Русак огромной величины, с темной шеєю, притом весь лохматый. Никто из охотников такого не видел. Досадно, что не удалось затравить».³⁰

Обратите внимание: то, что «не удалось затравить» — конечно, «досадно». Но не это главное; главное то, что *видел!* Увидеть, ощутить, почувствовать другое существо — вот смысл удачной охоты. Это страстное желание *общения* рождает у собеседника столь же страстное желание *раскрыться* перед охотником. И он раскрывается перед ним как ни перед кем иным.

Эффект *охотника* определяет еще одно существенное обстоятельство.

Отдельное издание «Записок охотника» Тургенева вышло из печати в 1852 году — опять же *одновременно* со второй частью трилогии Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». К этому времени два литературных «охотника» познакомились и сблизились, несмотря на то, что были в разных общественных «лагерях». Сблизились именно как *охотники* — два «отличных человека». 29 декабря 1850 года С. Т. Аксаков писал сыну Ивану: «На днях я познакомился с Тургеневым, и он мне очень понравился; может быть, его убеждения ложны или, по крайней мере, противны моим, но натура его добрая, простая».³¹ «Натура» — *охотника!*

Тургенев написал о новой книге Аксакова восторженную рецензию, в которой высказал важнейшую для «охотничьей философии» идею о

²⁹ ПССыП(1). Соч. Т. 4. С. 53.

³⁰ РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 9. Ед. хр. 16. Л. 1—1 об.

³¹ Р Мысль. 1915. № 8. С. 125.

том, что охота — свободное хотение человека — аналогична доброй воле природы (которая тоже подвластна необъяснимым «хотениям»). Человек — часть природы. Очень переплетенная, совмещенная с нею часть. «Если б тетерев мог рассказать о себе, — заметил Тургенев, — он бы, я в том уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал нам г. А—в».³² Становясь как бы на место каждого тетерева, сумев поглядеть на мир глазами каждой Божьей твари, писатель обретает право становиться полномочным представителем Божьего мира вообще.

Но если сопоставить авторов и тех и других «Записок...» как *охотников*, то мы вынуждены будем признать неизмеримо превосходящий «профессионализм» Аксакова. Ведь «ружейный охотник» Тургенев только мимоходом, в коротеньких эпизодах (вроде описания «тяги» в «Ермолае и мельничихе»), рассказывает собственно об *охоте*. Основное его повествование — серия неких эпизодов, «баек», не идущих к «охотничьему» делу и, казалось бы, не вполне соответствующих задачам книги.

Кроме того, авторы обеих книг отличались по уровню использования художественного воображения. Размышляя над особенностями своего таланта, Аксаков специально указывал, что ему не хватает духа «изобретения», что он может писать только «на почве действительности», что он может быть только «передатчиком» жизненного материала: «Заменить <...> действительность вымыслом я не в состоянии... Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа <...> я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей. Это моя особенность...».³³ Даже элементарная словесная изобразительность оказывалась Аксакову вроде бы «не по плечу»: он прямо декларировал отказ от нее. Осенью 1852 года он заметил в письме к молодому своему приятелю художнику Константину Трутовскому: «Я ненавижу холод и потому не люблю осенние морозы. Все красивые выражения насчет полей, *посеребрённых морозной пылью*, для меня не имеют смысла. Я вижу тут смерть, белый саван и более ничего».³⁴

Напротив, Тургенев не страдал отсутствием «дара вымысла» — в своих «Записках охотника» он представлял прямым «фантазером», выдумщиком — и при гиперболизации некоторых сюжетов, и в своих словесных описаниях. А склонность выдумывать и «припрыгать» считал для охотника «безвредным, иногда даже забавным недостатком».³⁵ «Почва действительности» для него — вовсе не окончательный предмет словесного моделирования (как для Аксакова). Он постоянно сопоставляет в своих конструкциях ту «природную основу», которую выделил в результате своей «охотничьей» деятельности, — с «миром социума», который постоянно вторгается и разрушает эту «основу».

³² ПССиП(1). Соч. Т. 5. С. 416.

³³ Аксаков. Т. 1. С. 414.

³⁴ Русский художественный архив. 1892. № 2. С. 53.

³⁵ ПССиП(1). Соч. Т. 14. С. 265.

Вот он описывает (в рассказе «Ермолай и мельничиха») историю «мельничихи» Арины, которая крепостной девочкой была взята в барский дом на завидную службу горничной помещицкой жены. История эта представлена «с противной стороны» — устами типичнейшего носителя идеалов «социума» помещика Зверкова: «Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным». Зверков рассказывает эту историю в качестве назидательного примера, вполне уверенный в собственной нравственной высоте и правоте. Взяли из деревни неграмотную девочку, выучили грамоте. Жена взяла ее сразу же «в горничные к своей особе». Горничная оказалась образцовая: «услужлива, скромна, послушна — просто всё, что требуется». А через десять лет такой «отличной службы» — запросилась замуж! Хотя отлично знает, что ее хозяйка «положила себе за правило: замужних горничных не держать». Зверков, расценив это желание горничной как «зло, черную неблагодарность в человеке», — не позволил ей этот «беспорядок». Тогда она попросту «загуляла» с лакеем Петрушкой. Зверков, естественно, «тогчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню».³⁶

Помещик смотрит на эту историю с позиций «социума»: и здесь он, без сомнения, глубоко прав! И даже логичен по-своему. Вот горничная бросается к нему в ноги — его реакция: «Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли?». ³⁷ Суждение вполне «нравственное», — но оно в глазах Зверкова применимо не к любому человеку, а только к человеку определенного круга — тех людей из высшего общества, которые поступают по отношению к другим как «благотетели»: они и «жалуют» своих дворовых, и «балуют», «одевают отлично», «кормят с господского стола». А те, которых «облагодетельствовали» — и которые при этом «забыли свое достоинство», — вроде бы и «не люди».

В конфликте жены Зверкова, лишившейся «отличной горничной», и Арины нравственная правда, по его разумению, может быть только на стороне жены! И даже не потому, что эта самая жена — «ангел во плоти, доброта неизъяснимая» (а, по наблюдению его собеседника, женщина «пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое создание»). В данном конфликте абсолютно неважен нрав жены — важно, что она, заведя себе «правило» «замужних горничных не держать», усвоила взгляд на «горничных» как на «ненастоящих» людей. Помещица из рассказа «Льгов» не позволяла дворовым жениться потому, что сама живет «в девках»,³⁸ — это еще можно как-то понять. Но в данном случае хозяйка отвергает право ее прислуги жить «по-людски», так же, как живет сама, только потому, что почитает эту самую прислугу способной лишь на то, чтобы исполнять обязанности ее горнич-

³⁶ Там же. Т. 4. С. 29—31.

³⁷ Там же. С. 30.

³⁸ Там же. С. 287.

ной, — и ни на что иное. Ей не дается «природоподобный» взгляд на другого человека.

Помещица понять не может, что ее горничной хочется любить — и иметь семью: точно так же, как и ей самой. Мардарий Аполлонович из рассказа «Два помещика» тоже не может понять, что дворовому, которого, по его приказанию, секут на конюшне, так же больно, как было бы больно ему самому. И забавляется этой поркой «с добрейшей улыбкой» («Что я, злодей, что ли, что вы на меня так оставились?»³⁹). Самое страшное в крепостном праве — это сознание *обыденного* права устанавливать подобные социальные отношения.

Для *охотника*, по природе своей страсти научившегося видеть бытие «тетерева» глазами самого «тетерева», просто не существует возможности какого-то иного отношения к окружающим его существам — животным, а тем более людям. Поэтому, например, охотник Ермолай, неравнодушный к мельничихе, увидев, что та серьезно больна, первым делом считает нужным предупредить: «Ты к лекарю не ходи, Арина: *хуже будет*».⁴⁰ Мир социума не может привнести в природный мир ни радости, ни облегчения — может только преумножить страдания.

Натуральная школа открыла для русской литературы *человека* в людях «простого звания»: «разве мужик — не человек?». Тургенев в «Записках охотника» сделал следующий шаг: он представил внутренний мир этого «лядащего», презираемого (а чаще — просто не замечаемого) мужика. И этот внутренний мир оказался более интересен, чем мир представителя так называемого «образованного сословия». Одним из первых на появление «Хоря и Калиныча» откликнулся «охотник» К. С. Аксаков, с восторгом увидевший в рассказе то, что автор «прикоснулся к народу с участием и сочувствием». Раньше, — указал критик, — Тургенев «силился уверить других и себя *в отвлеченных и потому небывалых состояниях души*». Теперь это стремление к отражению «состояния души» сказалось в поисках «души» другого, не похожего на него человека.⁴¹

А это открытие было невозможно сделать — *не охотнику*. Только осознав себя частью природы, только войдя в ее жизненный круговорот, можно увидеть некое общее жизненное движение. Природа, как отметил Тургенев в отзыве о книге Аксакова, — это прежде всего «проявление жизни всеобщей, среди которой сам человек стоит, как звено живое, высшее, но тесно связанное с другими звеньями <...>».⁴² В другом месте этого отзыва мысль об «основном направлении природы» развивается более детально:

«Бесспорно, вся она составляет одно великое, стройное целое — каждая точка в ней соединена со всеми другими, — но стремление ее в то

³⁹ Там же. С. 184.

⁴⁰ Там же. С. 28.

⁴¹ Аксаков К. С. Три критические статьи г-на Имрек (примечание) // Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 146—147.

⁴² ПССУП(1). Соч. Т. 5. С. 397.

же время идет к тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная единица в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя средоточием вселенной <...>. Для комара, который сосет вашу кровь, — вы пища, и он так же спокойно и беззастенчиво пользуется вами, как паук, которому он попался в сети, им самим, как корень, роющийся во тьме, земляною влагой. <...> Как из этого разъединения и раздробления, в котором, кажется, всё живет только для себя, — как выходит именно та общая, бесконечная гармония, в которой, напротив, всё, что существует, — существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения — и все жизни сливаются в одну мировую жизнь, — это одна из тех „открытых” тайн, которые мы все и видим и не видим». ⁴³

«Тайна природы» потому и «открытая», что она очень простая. Но не охотнику увидеть ее не суждено: удаленный от природы человек поневоле движется в том социуме, который закрывает от него естественные данности. Тургенев, приняв обличье «чудака»-охотника, отделенного от закрытых в своем социуме обывателей мира, сумел, подобно Ермолаю или Касьяну с Красивой Мечи, понять эту «тайну», которая и не «тайна» вовсе. И только поняв ее, сумел увидеть нечто сокровенное в простых людях: «зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил». ⁴⁴

Поэтому когда русская литература встала перед необходимостью создания новой системы нравственных установлений и новых психологических способов словесного изображения жизни, — особенно востребованным оказался образ охотника. Противоречивая фигура этого «чудака», выламывавшегося из обыденной жизни, позволила установить новый взгляд на мир, «выстроить» новую философию этого мира. Поэтому наряду с писателями-«охотниками» в литературе появляется немало типов персонажей-«охотников». Все они — необычные, обладающие множеством недостатков и странностей. И все — «отличные люди»: дядя Ерощка из толстовских «Казачков», дядюшка и доезжачий Данило из «Войны и мира», некрасовские «охотники», начиная со «старого Мазая» и т. д. Даже если они предстают эпизодическими лицами, они непременно оказываются носителями очень значимых авторских идей...

⁴³ Там же. С. 415—416.

⁴⁴ Белинский. Т. 10. С. 346.